



И. М. ЕФИМОВ

Впечатления от прочтения «Философических писем» Чаадаева *

Письмо Я. А. Гордину

Яша, милый друг, я был долгое время сердит на тебя за бессовестную легкость, с которой ты скинул с себя наш договор, надо было отказаться сразу, в начале лета, я бы сговорился с кем-нибудь другим, но теперь выяснилось, что все к лучшему, на студии Горького прочли «Таврический сад» и прислали мне вежливый отказ, так что с этим все кончено. Только не говори «вот видишь», не торжествуй, не серди меня снова. Все равно ни мне, ни тебе во всю жизнь не обойтись без сухого хлеба инсценировок, потому что семья, дети — и никуда не денешься. Сразу по приезде мне придется инсценировать для Ленинградского телевидения «Я хочу в Сиверскую», так что сейчас я спешу сделать как можно больше для себя и для вечности, здесь есть удобная банька, где можно спрятаться от детского гвалта, в ней и работаю, из нее и пишу тебе.

В перерывах почитываю все того же Чаадаева и Гершензона, а также Герцена, все страшные пророческие книжки, веселее от них не делается.

Ты говоришь о Чаадаеве, что это был в XIX веке единственный русский философ, но, кажется, не чувствуешь, какая насмешка скрыта в сем неоспоримом факте, что это был за философ, какой жуткой поучительностью проникнута его фигура и сам факт его единственности. Что он написал?! Четыре письма, из которых только первое, прогремевшее, можно назвать значительным, там все пережито, оплачено собственным терзанием от жизни в этой стране, два следующих — воздушные по-

* Заголовок дан архивариусом.

строения, досужая болтовня на темы Бога и истории, четвертое же — попросту дилетантское эссе об архитектуре, контрольная работа для поступающего в экскурсоводы — вот все его наследство. Не замечая, он сам несет в себе все пороки российской духовности, на которые обрушивается с такой желчью. Вот он жалуется на русское чванство, на нежелание чему-нибудь учиться и тут же, через несколько страниц, с тем же чванством говорит, что плевать ему на науку историю, на ее факты и события, он ее дух гениально уловил, высший смысл, он в архивной пыли не рылся, он ее шапками закидал, все на место поставил — Возрождение в угол, средневековье на трон, Аристотеля по соплям, полный порядок. Вот он страдает, что у нас всякая новая идея обязательно до смерти убивает предыдущую, никогда они не могут ужиться, и тут же сам начинает этим заниматься, передергивая обожаемого им Штиллинга, прилаживает его мысль о неизбежной полярности всего живущего, о правомерной борьбе двух начал к своим местническим теориям о католицизме, разделяет мир на католицизм и язычество и чисто по-русски хочет расстрелять язычество, зачем оно не католицизм, не понимая, что в такой борьбе побед не бывает, если кто-то победил, то тотчас гибнут оба, то есть прекращается жизнь. Какой он, к черту, философ, если даже чужую мысль не может воспринять в чистоте, не передернуть под свои затеи. И с Богом у него прегадкие отношения, чисто русские, Бог для него — просто очень большое начальство, и все, о чем он мечтает, это стать очень хорошим приказчиком, угодить, он все время оглядывается на него, ловит знаки, Евангелие наугад раскрывает, к подсознанию прислушивается, и тут же мимоходом лупит апостольской палкой прочее человечество, старается угадать, кого нужно лупить, кого нельзя, как Они к этому отнесутся, протестантов, наверное, Они не жалуется, ух эти протестанты! и православных тоже, и греков, мерзких язычников, уж наверняка, а я вот сейчас поймаю, я угрожу — и после смерти мне будет награда, такая большая медаль, а вы, безбожники, все изойдете в страшных муках. Какая же это мерзость, какой крохотный, по уши в людских дрязгах божишка, как это не похоже на величественное ощущение Божества, надличного, Верховного привратника, которым проникнуты Спиноза, Кант, Эйнштейн, Кафка, Гете, Достоевский. И эта мелочь — наш единственный философ? Боже, как грустно, какая тоска. И как показательно, что все потенциальные русские философы, люди гораздо большей мощи ума, воли и энергии, Герцен,

Чернышевский и Ульянов*, так и не стали ими; не смогли оторваться от прикладного материализма, от политики, но всегда сознавали это, понимали свою ограниченность и не тщились стать тем, чем им было стать невозможно. Одна осталась надежда на Бердяева, а если не он, то, значит, не было на Руси своей философии, придется либо тебе, либо мне, либо Грачеву.

Только отчего это так? Почему могло не быть ее? И что это за страна такая, что за загадка в двести миллионов населения? У тебя-то, небось, полно разгадок, ты мне потом расскажешь, но вчера я прочел у Герцена не ответ и не панацею, но кое-что удивительно про то. Он пишет статью о русских для европейцев, ты наверняка помнишь — там, где он поминает Кюстина и Гакстгаузена, их книги о России, и особенно то место, где он говорит об основной ячейке в укладе русской жизни, о земельной общине. Можешь позорить меня сколько вздумается, но я действительно ничего не знал об этом, слово «община» всегда было для меня пустым звуком, какой-то параграф в школьной истории, не больше. Я и понятия не имел, что это за поразительная штука — этот сохранившийся в низинах, первобытный, ячеечный коммунизм, выживший и под князьями, и под татарами, и под петровскими реформами, и под немцами в XVIII веке, и под Аракчеевым в XIX. Прости, что я выпишу оттуда два куска, это я больше для себя, чем для тебя. Гакстгаузен пишет об общине: «Каждая сельская община представляет в России маленькую республику, которая самостоятельно управляет своими внутренними делами, не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и уже давно довела до степени свершившегося факта часть социалистических учений. Иначе здесь жить не умеют, иначе никогда даже здесь и не жили». И Герцен, во многом соглашаясь с ним, пишет дальше: «...деревенская жизнь, как всякий коммунизм, полностью поглотила личность. Человек, привыкший во всем полагаться на общину, погибает, едва лишь отделится от нее; он слабеет, он не находит в себе ни силы, ни побуждений к деятельности; при малейшей опасности он спешит укрыться под защиту этой матери, которая держит, таким образом, своих детей в состоянии постоянного несовершеннолетия и требует от них пассивного послушания. В общине слишком мало движения, она не получает извне никакого толчка, который побуждал бы ее к развитию, — в ней нет конкуренции, нет внутренней борьбы,

* Слово «Ульянов» тщательно замазано шариковой ручкой, вверху шариковой ручкой написано «Плеханов».

создающей разнообразие и движение, предоставляя человеку его долю земли, она избавляет его от всяких забот».

Все это поразило меня необычайно.

Я не знаю, что здесь причина, что следствие, заложена ли в национальном характере черта, толкающая его к жизни в «миру, в обществе», или, наоборот, суровая природа заставляла его столько веков держаться за общину и тем самым слепила в нем такую черту, но эта черта, эта неспособность и нежелание жить отдельно, самостоятельной и свободной личностью, эта подозрительная, до убийства доходящая ненависть ко всякому, кто пытается так жить, существует в характере нации безусловно, это не временный заскок, на наше несчастье, не случайное впечатление, не набор примеров, но жуткая и затяжная истина, которая складывалась веками и не разрушится за пару десятилетий. Чем дальше я думаю, тем больше убеждаюсь, что именно в этой черте лежат многие ключи и отгадки — тут и загадочная славянская душа, и неожиданная, не объяснимая логикой мощь государства, и тысячи, тысячи других ответов. Отчего ни в одной стране не набрать такого списка писателей, которых государство ссылало, вешало, сажало в тюрьму, на каторгу, предавало анафеме, — и все это как само собой разумеющееся? Отчего эти самые писатели так рвались уехать за границу, а многие и жили там долгие годы? Отчего они, эти странные русские, так терзая лучших среди себя, создали в девятнадцатом веке величайшую в мире литературу и не создали никакой философии, которая не растет без той же самой личности и ее свободы? Отчего капитализм, требующий людей с инициативой и предпринимательством*, не привился здесь, хоть его втаскивали с 1861 года в открытые двери, а социализм, который в теории похож на очень большую общину, прижился как свой, проломившись сквозь революцию и гражданскую войну? Отчего мы знаем, что стоит убрать сейчас из Германии и Венгрии наши войска, и тотчас там все станет по-старому, а нас хоть Америка завоюй — и никакой капитализм здесь не получится? И отчего стали возможны здесь миллионные убийства всего, что пыталось жить само по себе, сперва тех, кто хозяйствовал отдельно, как кулаки, потом тех, кто думал отдельно, как оппозиция, а потом и всех остальных, кто не так разговаривал, не так аплодировал, не так писал, вообще, хоть чем-нибудь торчал наружу? И наконец, отчего нам не нужна ни свобода слова, ни свобода собраний, и отчего мы первые начали судить

* Так в тексте.

за литературу, и отчего бьем за длинные волосы и узкие брюки, и отчего достоинство не уважаем, и зачем терзаем друг друга, и отчего никогда и никуда не уедем отсюда? Отчего?

Вот случайно вырванные из огромного списка вопросов, на которые даже ты, при всем своем упрямстве и духе противоречия, не сможешь ответить, не помянув национальный характер и стойкую земельную общину.

*Обнимаю тебя, твой Игорь.
8.09.66.*

Забыл оговориться, что, как всякий мысливший и духовно страдавший человек, Петр Яковлевич Чаадаев заслуживает всяческого нашего уважения и почитания. Аминь.

